

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СОЗНАНИЯ

(НАЧАЛО XVII ВЕКА)

Основная тема литературных произведений начала XVII века — историческое осмысление современности — событий Смутного времени.

Исторические сочинения первой половины XVII века, посвященные «Смуте»¹, резко отделяются от предшествующих летописей, исторических повестей, хронографов и «Степенной книги» рядом особенностей, и в первую очередь — повышенным интересом к человеческому характеру и новым к нему отношением. Изображение характеров исторических лиц составляет отныне одну из главных целей исторического повествования. Эти характеристики не только увеличиваются в объеме, но и изменяются по существу. По сути дела, «Временник» дьяка Ивана Тимофеева представляет собой собрание характеристик деятелей «Смуты» и событий «Смуты». Это своеобразная портретная галерея, соединенная с галереей картин исторического жанра. Вследствие этого автор не стремится к фактической полноте и последовательному хронологическому изложению событий. Иван Тимофеев не столько описывает факты, сколько их обсуждает. Его «Временник» не отличается в том, что касается событий после правления Шуйского, последовательной связью изложения: это очерки и характеристики — в особенности последние.

Равным образом и «Словеса дней и царей и святителей московских» Ивана Хворостинина состоят в основном из характе-

¹ Здесь и ниже пользуюсь выражением «Смута» постольку, поскольку оно принадлежит самим писателям начала XVII в., так именно определявшим эпоху, послужившую предметом их исследования. В современной научной литературе принято более громоздкое определяющее название: «Эпоха крестьянских войн и польско-шведской (иногда говорят «иностранной») интервенции».

ристик деятелей «Смуты», начиная с Бориса Годунова. Во вступлении к своему труду Иван Хворостинин разъясняет цели своего произведения: он желает описать «пастырей наших детели» (деяния. — Д. Л.), подвиги «великодушных муж и бескровных мучеников и победоносцев».

То же самое может быть сказано и о «Повести» князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского, в конце которой помещено даже особое «Написание вкратце о царех московских, о образе их (т. е. о их внешности. — Д. Л.), и о возрасте, и о нравех».

В известной мере тем же стремлением к обсуждению характера исторических личностей отмечено и «Сказание» Авраамия Палицына, и «Иное сказание», и «Повесть» Семена Шаховского, и многое другое.

Этим интересом к интерпретации событий, а не к их фиксации, и в особенности к характеристикам участников этих событий, отличается вся литература о Смутном времени. Однако с наибольшей четкостью эта новая черта исторического сознания сказывается в русских статьях (т. е. статьях, посвященных русской истории) второй редакции Хронографа (1617 года). Литературные достоинства этих новых русских статей второй редакции Хронографа и значение их в развитии исторического знания на Руси до сих пор еще недостаточно оценены.

Самый состав Хронографа второй редакции обнаруживает в его авторе человека с незаурядной широтой исторических интересов. Предшествующая всемирная хронография в пределах от XI и до XVII века в гораздо большей степени, чем русское летописание, была подчинена религиозным задачам. Всемирная история трактовалась в значительной степени, хотя и не целиком, как история православия в борьбе с ересями. Вторая редакция Хронографа — первый и крупный шаг на пути секуляризации русской хронографии. Это отчетливо выступает в тех дополнениях, которыми распространил автор второй редакции основное, традиционное содержание Хронографа. Здесь и новые статьи из Елинского летописца (преимущественно выдержки из Хроники Иоанна Малалы, касающиеся античной истории), здесь и сочинения Ивана Пересветова, и дополнения из католических хроник Мартина Бельского и Конрада Ликостена. Из этих последних выписаны статьи географического содержания (например, об открытии Америки — первые на Руси о ней известия), статьи об античной мифологии или общие статьи о магометанстве, по истории пап, по истории западноевропейских стран, по истории Польши. Все это не имело отношения к истории православия и даже иной раз противоречило официальной точке зрения на историю православия. Не меньший интерес имеют и вновь включенные статьи, посвященные описанию наружности

богоматери (из слова Епифания Кипрского «О житии пресвятыя владичица наша Богородице») и наружности Христа («Описание же божественныя Христовы плоти и совершеннаго возраста его»). В них сказывается интерес к реальному «портрету». Благодаря всем этим дополнениям Хронограф второй редакции (1617 г.) отличается значительно более светским характером, чем предшествующий ему Хронограф первой редакции (1512 г.). Однако наиболее отчетливо этот светский характер второй редакции Хронографа обнаруживается в его подробном повествовании о событиях русской «Смуты».

Давно уже было отмечено, что рассказ Хронографа 1617 г. о событиях русской истории XVI — начала XVII века представляет собой единое и стройное произведение. Это ощущается не только в стилистическом и идейном единстве всего повествования, но прямо подчеркивается автором путем постоянных перекрестных ссылок: «о нем же впереди речено будет в Цареградском взятии», или просто — «о нем же впереди речено будет», «о нем же писах в царстве блаженныя памяти Феодора Ивановича», «о нем же писах и прежде» и т. п.

Важно при этом отметить, что и само это произведение, как и вся композиция второй редакции Хронографа, идет по пути той же секуляризации исторической литературы. В нем нет ссылок на Священное писание, нет религиозного объяснения событий. Автор не приписывает «Смуту» наказанию божью за грехи всех русских людей, как это еще делают некоторые другие сочинители исторических произведений первой половины XVII века. Этот светский дух пронизывает собою и всю систему характеристик деятелей русской истории. Перед нами в Хронографе второй редакции действительно «система» характеристик: теоретически изложенная в кратких, но чрезвычайно значительных сентенциях и практически примененная в изображении действующих лиц «Смуты». Эта «система» противостоит средневековой, она подвергает сомнению основные принципы агиографического стиля. В ней нет резкого противопоставления добрых и злых, грешных и безгрешных, нет строгого осуждения грешников, нет «абсолютизации» человека, столь свойственной идеалистической системе мировоззрения средневековья.

В предшествующее время человек, особенно в житийной литературе, выступает по преимуществу либо совершенно добрым, либо совершенно злым. Исследователь творчества Пахомия Серба В. Яблонский пишет, например: «Подвижники рождаются у Пахомия такими же святыми, какими и умирают. Эта несообразность с законом естественного развития всякой человеческой жизни не препятствует трудам Пахомия быть поучительными панегириками: в жизни подвижников мы не находим ни едино-

го темного пятна от раннего детства до блаженной кончины в старости глубокой...» Правда, в литературе исторической эта идеализация и абсолютизирование нарушались сплошь и рядом, но эти нарушения были бессознательными, они не входили в художественный замысел автора, они происходили под воздействием самой действительности, дававшей материал для изображения человека, или под влиянием тех литературных образцов, которые писателю служили. Противоречивые черты могут быть замечены в изображении Дракулы в «Повести о Мутьянском воеводе Дракуле» (он справедлив и одновременно извращенно жесток), в изображении отдельных летописных героев и т. д. В «Повести о Дракуле» последний — «дьявол», но, поскольку и в богословских представлениях того времени на дьявола возлагается обязанность возмездия за грехи людей — он одновременно и справедлив: наказывает преступников тем, чем они провинились. Однако противоречивость характера исторического деятеля никогда еще не отмечалась в письменности особо. Она не осознавалась, не декларировалась авторами, хотя невольно уже и изображалась. Никогда исторические писатели сознательно не ставили себе целью описать эту противоречивость. Она слагалась как бы стихийно, слагалась в сознании читателя, а не в намерениях и тем более не в декларациях авторов.

Впервые исторические писатели открыто заговорили о противоречивости человеческого характера только в начале XVII века. Особенно ярко это опять-таки сказалось в Хронографе второй редакции. Человеческий характер объявляется автором второй редакции Хронографа сотканным из противоречий, сложным, в известной мере «относительным», соотнесенным со средой, условиями жизни, особенностями биографического порядка. «Не бывает же убо никто от земнородных безпорочен в житии своем», — объявляет автор Хронографа. «Но убо да никто же похвалится чист быти от сети не приязньственаго злокозньствия врага», — повторяет он. «Во всех земнородных ум человек погрешителен есть, и от добраго нрава злыми совратен», иначе говоря — каждый человек в той или иной степени «совращен» от «добраго нрава», данного ему при рождении. Нет, следовательно, во-первых, людей только злых или только добродетельных, и, во-вторых, человеческий характер создается жизнью. Живой пример такого «совращения» доброго нрава на злой — Иван Грозный. Первоначально Грозный — образец доброго, мудрого и мужественного царя: «Он же убо имый разум благообычен, и бысть бе в мужестве, умен, еще же и во бранех на супротивныя искусен, велик бе в мужестве, и умеа на рати копием потрясати, воиничен бо бе и ратник непобедим, храбросерд же и хитр конник; той убо варварския страны аки молния борзо

обтече, и вся окрестныя устраши, и прегордыя враги покори. Бысть же и во словесной премудрости ритор, естествословен, и смышлением быстроумен, доброзрачен же и благосерд в воинстве, еще же и житие благочестиво имый, и ревностью по бозе присно препоясая...» Но стоило умереть Анастасии Романовой, поддерживавшей в Грозном его добрый от природы нрав, как характер его резко меняется — от старого не остается и следа. Перед нами другой человек, с диаметрально противоположным характером: «Блаженная же и предобрая супруга его не во многих летех ко господу отиде, и потом аки чюжая буря велия припаде к тишине благосердия его, и не вем, како превратися многомудренный его ум на нрав яр, и нача сокрушати от сродства своего многих, такоже и от велмож синклитства своего; во истину бо сбысться еже в притчах реченное: яко парение похоти прменяет ум незлобив. Еще же и крамолу междоусобную возлюби, и во едином граде едины люди на другия поусты, и прочая опричиненныя нарече, другия же собственны себе учини, земщиною нарече. И сицевых ради крамолств сына своего большого царевича Ивана, мудрым смыслом и благодатию сияюща, аки недозрелый грозд дебелим воздухом отрясе, и от ветви жития отторгну, о нем же неции глаголаху, як от отца своего ярости прияти ему болезнь, от болезни же и смерть...»

Если в этой характеристике Грозного автор второй редакции Хронографа еще зависит от Курбского и, следуя за этим последним, распределяет добродетели и злодеяния Грозного во времени, относя первые к первой половине царствования, а вторые ко второй, то во всех последующих характеристиках автор второй редакции Хронографа уже не прибегает к такому механическому разделению свойств характера во времени. Он совмещает их одновременно в одном и том же человеке, впервые в истории русской исторической мысли сознательно создавая жизненно противоречивые характеристики исторических лиц, создавая образы, полные «шекспировских» противоречий, драматизируя историю душевной борьбой, внося в них коллизии, борьбу и творя характеры, которые впоследствии действительно привлекли внимание драматургов.

Сознательной противоречивостью исполнена характеристика Бориса Годунова; противоположные качества его натуры как бы нарочно сопоставлены, сближены в одной и той же фразе с тем, чтобы подчеркнуть противоречие: Борис «аще и зело прорассудительное к народом мудроправльство показа, но обаче убо и царстей чести зависть излия». Подробная характеристика Бориса, с которой начинается повествование о его царствовании во второй редакции Хронографа, вся построена на этом совмещении положительных и отрицательных качеств его характера:

«Сей убо государь и великий князь Борис Федоровичь Годунов в свое царство в Руском государстве градов и монастырей и прочих достохвалных вещей много устроив, ко мздоиманию же зело бысть ненавистен, разбойства и татьбы и всякого корчемства много покусився еже бы во свое царство таковое не богоугодное дело искоренити, но не возможе отнюд. Во бранех же неискусен бысть: время бо тому не настояше, оруженосию же не зело изыщен, а естеством светлодушен и нравом милостив, паче же рещи и нищелюбив, от него же мнози доброкапленные потоки приемльше и от любодаровитыя его длани в сытость напитавшися, всем бо не оскудно даiania простирашися не точию ближним своим и сыновом руским, но и странным далним и иноплеменным аки море даiania и озеро пития разливашися всюду, яко каменья и древа и нивы вся дарми его упокоишася, и тако убо цветяся аки финик листвием добродетели. Аще бы не терние завистныя злобы цвет добродетели того помрачи, то могл бы убо всяко древньим уподобитися царем, иже во всячественем благочестии цветущим. Но убо да никто же похвалится чист быти от сети неприязньственаго злокозньствия врага, понеже сей перстною плотию недуговаше, зело возлюбил, и к себе вся приправливая, и аки ужем привлекаше».

Из тех же противоречивых черт соткана и характеристика патриарха Гермогена. Признавая, что Гермоген был «словесен муж и хитроречив», составитель второй редакции Хронографа тут же добавляет: «но не сладкогласен», и дальше: «а нравом груб и бывающим в запрещенных косен к разрешениям, к злым же и благим не быстро распрозрителен, но колстивым паче и лукавым прилежа и слуховерствователен бысть».

Соткана из противоположных качеств в Хронографе и характеристика Ивана Заруцкого: «Не храбр, но сердцем лют и нравом лукав». Достаточно сложна характеристика Козьмы Минина: «Аще и не искусен стремлением, но смел дерзновением» и т. д.

Вслед за автором второй редакции Хронографа эти противоречивость, контрастность человеческого характера подчеркивают и другие авторы исторических сочинений первой половины XVII века.

Прямолинейность прежних летописных характеристик по немногим рубрикам (либо законченный злодей, либо герой добродетели) исчезает в произведениях начала XVII века. Прямолинейность предшествующих характеристик отброшена — и с какою решительностью! Вслед за второй редакцией Хронографа наиболее резко сказывается новый тип характеристик во «Временнике» Ивана Тимофеева. Характеристика Грозного составлена Иваном Тимофеевым из риторической похвалы ему и само-

го страстного осуждения его «пламенного гнева». Все люди причастны греху: «сиде и сему (то есть Грозному. — Д. Л.), осрамившуся грехом, ему же причастни вси».

Тимофеев дает разностороннюю и очень сложную характеристику Борису Годунову и утверждает, что обязан говорить и о злых, и о добрых его делах: «И яже злоба о Борисе извещана бе, должно есть и благодеяний его к миру не утаити». Тимофеев как бы считает себя обязанным писать о добродетелях Годунова, поскольку он пишет и о его «злотворных»: «Елика убо злотворная его подробну написати подщажомся, сиде и добротворивая о нем исповедати не обленимся».

Совмещение в характеристиках всех качеств человека — и скверных и добрых — Тимофеев считает знаком беспристрастности: «И да никто же мя о сих словесы уловит, иже о любославнем разделении: во овых того есмь уничижая, в прочих же, яко похваляя». И в другом месте: «...егда злотворная одинако изречена бы, добрая же от инех сказуема, нами же умолкнута, — яве неправдование обнажилось бы списателево; а иже обоя вправду известуема без прилога, всяка уста заградятся», то есть никто не сможет возразить и упрекнуть автора в пристрастии, в односторонности, если он будет отмечать в человеке и злые и добрые черты. Только положительная или отрицательная характеристика лишь обнажает «неправдование» писателя, его необъективность. Иван Тимофеев не может решить, какая из чаш весов перетянет после смерти Бориса: «В часе же смерти его никто же весть, что возодоле и кая страна мерила претягну дел его: благая, ли злая».

Так же как и автор второй редакции Хронографа, Иван Тимофеев не рассматривает злое и доброе начала в характере человека как нечто извечное и неизменное. Впервые в русской литературе писатели начала XVII века стремятся выяснить причины появления и роста в характере исторического лица тех или иных качеств, рассматривают влияние одного человека на другого. Автор второй редакции Хронографа отмечает доброе влияние Анастасии Романовой на Грозного, с исчезновением этого влияния, после смерти Анастасии, меняется характер Грозного. Иван Тимофеев как один из факторов добродетели в характере Бориса отмечает доброе влияние на него со стороны царя Федора Иоанновича: «Но вем вещи силу сказати, откуда се ему доброе прибысть: от естества ли, ли от произволения, ли за славу мирскую... Мню бо, не мал прилог и от самодержавного вправду Феодора многу благу ему навикнути, от младых бо ногот придержася пят его часто».

Впервые, следовательно, в русской литературе применительно к историческим деятелям был поднят вопрос о факторах, вызывающих появление тех или иных черт в человеческом харак-

тере. Вневременная и абсолютная сущность человеческого характера, какой она представлялась в средневековье, поколеблена. Автора уже не смущает изменчивость характеров, как не смущают и контрасты в них.

Иван Тимофеев различает в исторических деятелях следующие слагаемые их характера наряду с «естеством»: «произволение», то есть свободный выбор человека, «за славу мирскую», то есть тщеславие — оглядку на людское мнение, и, наконец, непосредственное влияние других людей — в данном случае царя Федора. Перемена этих слагаемых вызывает изменения в человеческом характере. Так же как у автора второй редакции Хронографа Грозный, у Ивана Тимофеева Борис Годунов меняет свой характер под влиянием изменения внешней обстановки. Эта перемена картинно изображена Иваном Тимофеевым: «Сиде и Борис, егда в равночестных честен бе и по цари вся добре управляя люди, тогда по всему благ являся, во ответех убо обрешася сладок, кроток, тих, податлив же, и любим бываше всем за обиды и неправды всякия от земля изытельство, яко едину ему такову по цари праведну тогда мняху вси во всецарствии обрестися. Сего, такового правосудства ради, и к церквию помазанию вси людие земля о нем усладившеся предкнушася: в получении жь толика преестествена вышотою сана и несвойственна ему такова по всему чина, егда паче естества си совершенно одеся преславнаго царствия превсесветлаго благолепия порфирию, тогда мирови о мнящихся ими благих солган бысть надежду, еже о нем чаянием упования лучшаго, к нему купно и душевне верую. По получении же того величеством абия претворся и нестерпим всяко, всем жесток и тяжек обрется; о людех варив благотворением малем и прельсти державу свою».

Сложная и контрастная характеристика Бориса обошла всех писателей, писавших о «Смуте» после 1617 года. Она сказалась не только во «Временнике» Ивана Тимофеева, но и в «Словесах дней и царей и святителей московских» Ивана Хворостинина. У него мы видим то же совмещение в образе Бориса противоречивых качеств: «Аще бо и лукав сый нравом и властолюбив, но зело и боголюбив; церкви многи возгради и красоту градскую велелепием исполни; лихоимцы укроти, самолюбных погубив, областем странным страшен показася, и в мудрость жития мира сего, яко добрый гигант, облечеся и приим славу и честь от царей». А затем без всякого перехода: «И озлоби люди своя, и востави сына на отца и отца на сына, и сотвори вражду в домех их, и ненавидение и лесь в рабех сотвори, и возведе работных на свободных, и уничижи господа на началствующих, и соблазни мир и введе ненависть, и востави рабов на господей своих, и власти сильных отъят, и погуби благородных много, иже нелепо

есть днесь простерти слово, да не постигнет нас время, повести деюще».

Контрастная характеристика Бориса предложена читателям и в «Повести» И. М. Катырева-Ростовского: «Быст же той Борис образом своим и дела множество людей превозшед; ни кто бе ему от царских синклит подобен во благолепие лица его и в разсуждение ума его; милостив и благочестив, паче же во многом разсуждении доволен, и велеречив зело, и в царствующем граде многое дивное о собе творяше во дни власти своея. Но токмо едино неисправление имяше перед богом и всеми людми: во уши его ложное приношаху; радостно тово послушати желаше и оболганных людей без рассуждения напрасно мучителем предаваше. И властолюбив велми бываше, и начальников всего Росийского государства и воевод, вкупе же и всех людей московского народу, а подручны себе учини, якоже и самому царю во всем послушну ему быти и повеленное им творити».

Остались чужды этой характеристики Бориса лишь «Иное сказание», хотя и испытавшее влияние второй редакции Хронографа, но в своей начальной части более всего зависящее от «Повести, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов», и «Сказание» Авраамия Палицына в основной своей редакции, составленное еще до 1617 года.

Проблема человеческого характера встала, таким образом, перед историческими писателями первой половины XVII века во всей ее сложности, какая только могла быть доступна в эту эпоху. Постановка этой проблемы повлекла за собой пересмотр многих основ средневековой оценки исторических явлений, средневековых исторических воззрений в целом. Самое зло и добро в применении к человеческому характеру оказались относительными. Эту мысль прямо декларирует автор второй редакции Хронографа, поясняя, что от зла может произойти добро, а от добра зло: «Бывает бо по случаю и пелынная лютость врачевания ради недуг в достохвалных словесех приобношается, тако же и от сеговыя злобы произыде доброта».

Замечательно, что характеры исторических лиц показаны в произведениях о «Смуте» не изолированно. Они раскрываются в связи со слухами о них, в связи с народной молвой. В летописи не встречается передачи разных точек зрения на события, не согласных с авторской, характеристик неавторских. Между тем авторы исторических произведений о «Смуте» постоянно ссылаются на различные слухи, разговоры, толки, отчетливо осознавая значение «общественного мнения».

Автор второй редакции Хронографа ссылается на разговоры о ссылке Нагих в Углич, об убийстве Борисом царевича Дмитрия, о поставлении Филарета Никитича и т. д.

Характеры исторических лиц показаны на фоне народных

толков о них. Вот как характеризуется, например, Самозванец: «...глаголаша же о нем мнози, яко по всему уподобитися ему нравом и делом скверному законопреступнику нечестивому мучителю царю Иулиану». Передается и мнение народа о сыне Бориса — Федоре Борисовиче: «...о нем же мнози от народа тайно в сердцах своих возрыдаша за непорочное его житие».

Автор второй редакции Хронографа не стесняется приводить мнения, резко расходящиеся с его собственными. Он собирает все «за» и «против», подвергая их строгому разбору. Так, например, в Хронографе полностью переданы слова сторонников Тушинского вора о Василии Шуйском, которого автор второй редакции Хронографа в общем идеализирует. Эти «крамольницы» и «мятежницы» так отзывались о Шуйском: «...а ныне его ради кровь проливается многая, потому что он человек глуп и нечестив, пияница и блудник и всячествованием неистовен, царствования недостойн». В противовес этому мнению приводится и другое: «Сия же слышавше и мнози от народа рекоша к ним сице: «государь наш царь и великий князь Василей Иванович сел на Московское государство не сильно, выбрали его быти царем большие боляре и вы, дворяне, и все служилые люди, а пиянства и всякого неистовства мы в нем не ведаем; а коли бы таковому совету быти, ино бы тут были большие боляре да и всяких чинов люди».

То же восприятие характера исторического лица через народную молву, слухи, иногда сплетни опять-таки встречается и во «Временнике» Ивана Тимофеева, и в «Словесех дней» Ивана Хворостинина.

У Тимофеева окружена народной молвой смерть Грозного: «Глаголаху же нецыи, яко прежде времени той, яростнаго ради зельства, от своих раб подъя угашение своея жизни, яко же и чадом его по нем они сотвориша тожде. Смерти же его во странах языческих, яко о празднице светле, много сотворися радость, и весело восплескаша руками».

У Хворостинина в связи с народными толками дана характеристика Гермогена: «...яко же слышахом, етери глаголюще, яко соблазн и смущение патриарх той сотворил есть и возведе люди своя братися на враги, владуща нами...»

Итак, характеры исторических героев не неизменны, они могут изменяться под влиянием других людей или с переменой обстоятельств. В них могут совмещаться и дурные и хорошие качества. Человек по природе своей ни абсолютно добр, ни абсолютно зол. Беспорочных людей нет. Противоречивость, контрастность авторских характеристик исторических лиц служат как бы удостоверением объективности их изображения, так как только таким и может быть человек в представлениях первой половины XVII века. Характер человека преломляется в толках о

нем. Историческое лицо оценивается в исторической перспективе, в его «социальной функции».

Это новое представление о человеческом характере сказывается во всех деталях восприятия исторических лиц.

Старые средневековые добродетели уже лишены своего положительного значения. Безусловные добродетели оказываются относительными. Добродетели, заложенные в характере исторических лиц, сыгравших отрицательную роль в русской истории, оказываются только вредными. О Дмитрие Самозванце автор второй редакции Хронографа говорит: «...ко книжному прочтанию борзозрителен, но не на благо». Внешность человека уже не соответствует обязательно, как раньше, его характеру. Иван Тимофеев так, например, описывает внешность своих современников, легкомысленно предавшихся Самозванцу: «Вместо разума токмо седину едину имуще и брадную власом долгость, юже являху людем и красахуся тою, яко мудрии». Все большее и большее значение в характеристике исторических лиц приобретают их поведение, их действия. Это отчетливо видно в тех случаях, когда сравнение, образ, применяемый к человеку, имеет в виду его действия, но не его внутреннюю сущность, которая, как мы видели, в известной мере признавалась непознаваемой. Автор редакции Хронографа вряд ли считает патриарха Гермогена похожим на птицу и тем не менее пишет, что его «аки птища в закlete гладом умориша».

Вследствие этой манеры применять к историческим лицам различные образные сравнения по их функции, по их действию, а не по их сущности, авторы прибегают к таким сравнениям, которые, казалось бы, совершенно не шли к человеку с точки зрения эстетической системы нового времени: историческое лицо может быть уподоблено реке, буре, молнии, горе, раю, ограде и т. д.; оно может быть сравниваемо с различными дикими зверями, внешне мало похожими на человека. Автор второй редакции Хронографа сравнивает Бориса Годунова с «морем», с «езером»; Дмитрия Самозванца он называет «злодыхательной бурей». Тушинский вор — «злобесный и кроволакательный пес, или человекоядный зверь, иже лукавое око отверзе и злое рыкание испусти». Федор Иоаннович, говорит автор второй редакции Хронографа, «ограда бысть многих благ, яже водами божиими напояема, или рай одушевлен, иже храня благодатная садовия». Его же он называет «свеща страны Руския».

Все эти непривычные для нашего эстетического сознания сравнения объясняются тем, что человек характеризуется по «функции», по своим «делам». Об этом прямо однажды и заявляет автор второй редакции Хронографа, характеризуя Тушинского вора: «...се другое зло прииде, другой зверь подобен первому явился не образом, но делы».

Внешне этот способ характеристики человека еще очень близок к средневековой системе, к системе Хронографа 1512 года — самые образы старые, но функция их в значительной мере новая, поскольку новым оказывается самое видение человеческого характера, восприятие человеческой личности, ее оценка. И то, и другое, и третье оказываются бесконечно более сложными, чем в предшествующий период, и вместе с тем более реальными, более близкими действительности.

В чем же исторические корни новых воззрений на человеческую личность, нашедших себе место в литературных произведениях начала XVII века?

Новое отношение к человеческому характеру отразило общее накопление общественного опыта и отход от теологической точки зрения на человека, начавшийся в XVI веке и усиленно развивавшийся в XVII веке.

Период крестьянской войны и польско-шведской интервенции способствовал огромному накоплению опыта социальной борьбы во всех классах общества. Именно в это время вытесняется из политической практики, хотя еще и остается в сфере официальных деклараций, теологическая точка зрения на человеческую историю, на государственную власть и на самого человека.

Чтобы представить себе конкретно влияние нового социального опыта на литературу, обратимся к некоторым фактам. Мы видели выше, что обсуждению в литературе подвергались в первую очередь характеры монархов. Это далеко не случайно. Здесь сказалась новая практика поставления на царство «всею землею». Если в XVI веке Грозный в своих посланиях к Курбскому отрицал право подданных судить о действиях своего государя, утверждал богоизбранность монаршей власти, а в посланиях к Стефану Баторию насмешливо отзывался о его поставлении по «многоятежному человеческому хотению», то вскоре после его смерти это положение резко изменилось: в 1598 году состоялись первые выборы русского государя «всею землею». Теологическая точка зрения на происхождение царской власти и идея неподсудности монарха человеческому суду впервые возбудили очень серьезные сомнения.

Утвержденная грамота Бориса Годунова 1598 года хотя внешне и опирается еще на идею божественного происхождения царской власти, но практически объясняет необходимость власти государя чисто «земскими» причинами. Государь необходим для благосостояния своих подданных, и об этом выразительным жестом заявил сам Годунов во время своего венчания на царство: он взял за ворот свою рубашку и потряс ею, обещая и эту последнюю в случае нужды разделить со всеми для блага своих подданных.

Предвыборная горячка, несомненно, разжигала споры о до-

стоинствах того или иного претендента на престол. Характер будущего монарха подвергался обсуждению в боярской думе, на соборе, среди ратников, в толпе народа у стен Новодевичьего монастыря, где народ, подгоняемый приставами, «молил» Годунова на царство.

Грамота, утвержденная в 1598 году, одним из доводов в пользу избрания Годунова на царство выдвигала личные черты его характера: его государственную мудрость, его добродетели и его заботу о «воинском чине».

Черты нового отношения к власти царя мы можем найти и в крестоцеловальной записи Василия Шуйского, и в грамотах патриарха Гермогена, и в июньском приговоре 1611 года, и в Грамоте, утвержденной в 1613 году и т. д.

Крестьянская война постепенно вытравливала из народного сознания старое отношение к монарху как к наследственному, богоизбранному и человеческому суду не подсудному главе государства. Человеческий суд совершился и над Годуновым, и над Василием Шуйским, и над многими самозванцами. Этот суд был сперва судом народного мнения, а затем и судом действия. Характеры монархов обсуждались людьми «юнними», «малыми», «простыми» не в меньшей, может быть, степени, чем в среде боярства и дворянства.

Вслед за монархами обсуждение личных достоинств коснулось и всех руководителей ратного и «земского» дела. Июньский приговор 1611 года отчетливо отразил мысль о том, что начальниками должны быть люди способные, а не только бояре и княжата. История выдвинула тому конкретный образец — «говядаря» Кузьму Минина.

Черты человеческого характера стали, следовательно, предметами всеобщего обсуждения. Вопрос о них в отдельных случаях приобретал государственное значение. Вот почему и в литературе так часто начало упоминаться народное мнение.

Меньше всего в этом новом критерии для избрания «всенародным единством» монарха или военного руководителя было заинтересовано боярство. Поэтому-то характеру русских правителей относительно мало уделяют места боярские писатели начала XVII века: Авраамий Палицын, Катырев-Ростовский и некоторые другие. К ним, напротив, весьма внимательны писатели — обличители бояр: дьяк Тимофеев, автор второй редакции Хронографа и некоторые другие.

Итак, сильные и сложные характеры были в русской истории всегда, но лишь с начала XVII века перед историческими писателями встала особая задача их замечать и описывать. Эта задача была выдвинута перед литературой самой политической жизнью и вместе с тем она ответила внутренним потребностям развития самой литературы. Еще многое в литературе XVII ве-

ка в приемах составления характеристик исторических лиц восходит к житийной литературе, к Хронографу, но многое уже видится по-иному. Еще форма остается старой, но уже глаз воспринимает острее и наблюдательнее прежнего. Но самое замечательное в литературе начала XVII века — это сознательность введения новых принципов характеристик исторических лиц. Авторы XVII века не только по-новому описывают их характер, но высказывают принципиальные суждения о том, каким он им представляется. Недалеко то время, когда и самые приемы изображения человеческого характера изменятся, улягутся в новую литературную систему.

Изменение в отношении авторов XVI—XVII веков к человеческому характеру может быть изображено в такой последовательности: первоначально растет интерес к психологии исторических личностей, и рост этот отмечен чисто количественным увеличением числа и объема характеристик в произведениях XVI века; затем авторы исторических произведений начала XVII века научаются по-новому изображать характер исторических лиц, замечают в нем многое такое, что не было доступно их предшественникам, и одновременно начинают высказывать новые суждения о человеческих характерах, осознавая их сложность. Каждый новый этап в этом «обнаружении» характера непосредственно вызывался исторической действительностью.

Новое отношение к человеческому характеру не было только явлением узколитературным. Оно позволило по-новому взглянуть на современность, на трагические события, свидетелями которых явились писатели, и явилось новым этапом в развитии патриотического сознания. Личные свойства человека, его совесть, его честность и твердость стали осознаваться как решающие не только в его личной жизни, но и в судьбах государства. Особенно показательны в этом отношении две повести о князе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском — выдающемся полководце, на которого возлагались большие надежды в освобождении от шведской интервенции и в борьбе с войсками Лжедмитрия II. Однако подготавливаемый им поход на интервентов не был осуществлен из-за его внезапной смерти на двадцать четвертом году жизни на пиру. Первая повесть — «О рождении» Скопина, вторая — «О преставлении и о погребении». Наряду с книжными элементами в обеих повестях ярко прослеживается народно-песенная струя. Вот как, например, объясняется и оплакивается смерть Скопина: «И как будет после честного стола пир на веселие, и дьявольским омрачением злодеяница та княгиня Мария, кума подкресная, подносила чару пития куму подкресному и била челом, здоровала с крестником Алексеем Ивановичем. И той чаре, в питии, уготовано лютое питье смертное. И князь Михайло Васильевич выпивает ту чару

досуха, а не ведает, что злое питье лютое смертное. И не в долг час у князя Михаила во утробе возмутилося, и не допировал пиру почестного и послал к своей матушке Елене Петровне. И как восходит в свои хоромы княженецкие, и усмотрела его мати и возрила ему в ясные очи; и очи у него ярко возмутились, в лице у него страшно кровию знаменуется, а власы у него на главе стоя колеблются». Здесь и изобразительность, и фольклорность, и лиричность. Таков же и плач матери по Скопине-Шуйском: «Чадое мое сын, князь Михайло Васильевич, для чего ты рано и борзо с честного пира отъехал? Любо тебе богоданный крестный сын принял крещение не в радость? Любо тебе в пиру место было не по отчеству?» Поразительно, как в этом плаче сочетается реальный пир, на котором умер Скопин-Шуйский, с метафорой жизни как пира.

Можно говорить о стилистическом разнообразии в этой повести, но этот стилистический разноречивый — свидетельство о новых художественных исканиях, и он пронизывает собой в целом всю литературу, посвященную событиям Смутного времени, — времени, с которого начались многие новые явления в русской литературе.